



## Журман КАМЧИ

*Родился в 1959 году в городе Кульсары Атырауской области. Учился в филологическом факультете КазНУ им. Аль-Фараби. Автор книг «Встреча» (2003) и «Синие врата» (2010). В 2013 году в журнале «Жұлдыз» опубликована 1-я книга романа «Безверье». Перевёл на казахский язык романы Ч. Айтматова «Тавро Кассандры», «Когда падают горы» и повесть «Белое облако Чингисхана». Автор нескольких киносценариев и пьес.*

# СТАРИК

## Повесть

Пил Старик два раза в год: в день гибели друга своего Сергея и в День Победы. В эти дни он ставил на стол купленную загодя бутылку водки, вначале нарезал кружочками лук, насыпал в тарелку соль, затем резал хлеб, следом своими огрубелыми пальцами неуклюже подбирал крошки, а те, что не смог, сметал в правую ладонь и, произнеся «бисмилля!»<sup>1</sup>, закидывал в рот. После всего этого наполнял граненый стакан и залпом выпивал его. При этом даже не морщился, не испытывая к водке никакого отвращения. С неторопливой основательностью макал лук в соль, словно баурсак в сметану, отламывал кусочек хлеба и проглатывал единым махом.

Налив доплна второй стакан, ставил его перед собой, долго и пристально всматривался в него, словно последний пропойца: выпить его или не выпить? Если выпивка закончится, то придется искать где-то еще одну бутылку. В такие мгновенья обычно никто к нему почти не заглядывал, а если кто и оказывался у него невзначай, то что проку судачить с молчуном. Ну, скажешь ему что-нибудь, а он молча уставится на тебя, как на неодушевленный предмет. Хоть головой бы кивнул или что-нибудь ответил ради приличия. Похоже, слова твои для него – пустой звук, а может, он ничего в такие минуты не соображал. Словом, что ты пришел, что нет тебя – все одно, сидит себе неприкаянно, безразличный ко всему и вся.

Раньше хоть старуха его время от времени заглядывала в комнату, чтобы прибрать стол да вычистить пепельницу, забитую окурками, но вот уже два года, как она отправилась в аул, где нет собак<sup>2</sup>; что же до сына, тот с тех пор, как школу закончил, все в городе ошивается, вначале учился там, потом на работу устроился, следом женился, а затем, известное дело, осел в городе навсегда, разве что выберется раз в два года родителей навестить, а весточку прислать – все руки не доходят.

Соседи с ним давно не водились и дорогу к нему забыли напрочь, вот и сидит он сиднем до заката один-одинешенек. Заходит иногда, правда, проведать его

<sup>1</sup> Во имя Аллаха! – зачин суры Аль-Фатиха.

<sup>2</sup> Отошла в мир иной (идиома).



сверстник Сейтек, о здоровье и житье-бытье справиться, присядет к столу, хлеба в знак уважения к его дому отведаст и так и сяк разговорить пытается. Старик же в ответ ни слова, но гость понимает, что тот делает это не из упрямства, поэтому долго рассказывает ему о чем-то, самому себе и отвечая при этом, полагая, что его приход поможет отшельнику как-то воспрянуть духом, стряхнуть с души кручину.

Он тоже воевал, однако, в отличие от Старика, руки-ноги у него целы, разве что начинает лихорадочно трястись голова, если он разволнуется, рассердится там или обрадуется чему-то, дает о себе знать контузия, полученная на фронте. Говорят, кому суждено умереть своей смертью, тот не погибнет и за сорок лет войны; провоевав четыре года, он не то что ранения, даже царапинки не получил. До пенсии учительствовал в школе, преподавал историю. Богу одному известно, насколько он был силен в познаниях, но в свое время из-за нехватки учителей каким-то образом оказался в их числе, правда, позже закончил-таки заочно институт в областном центре и, похоже, стал вполне достойным столь благородного призвания. Своим умением одеваться со вкусом, равно как и манерой держаться на людях, для многих он являлся образцом, не говоря уж о том, что слова с делом у него никогда не расходились. Был он от природы весьма скромным, тонким, душевным человеком, напрочь лишенным всякой грубости; казалось, весь облик его излучает доброту, с кем бы он ни разговаривал, всем своим видом давал понять, что относится к каждому собеседнику с искренней отзывчивостью и безграничным уважением.

Директором школы был математик Асылбек, намного моложе их, но в данное время уже на пенсии, человек по натуре неумный, беспокойный, хвастливый, со смехом, переходящим в хохот, до того вспылчивый, что его мог рассердить любой пустяковый повод, однако столь же быстро и отходчивый. Но самое удивительное, стоило возникнуть рядом с ним Сейтеку, как директора охватывало беспричинное волнение, он мгновенно робел и от растерянности в разговоре перескакивал с пятого на десятое.

Однажды, в начале семидесятых, два восьмиклассника два дня не появлялись в школе, а когда за ними послали одноклассников, то они припугнули их, чтобы те сказали учителям, что болеют, а сами, выкурив сигареты, украденные в вагон-магазине, прозванном в народе «Кок дукен»<sup>3</sup>, отравились и попали в больницу. Тогда Асылбек вызвал родителей этих балбесов в школу, завел в учительскую и стал гневно обвинять их в том, что не воспитывают своих чад должным образом. В тот самый момент, когда он метал громы и молнии на нерадивых, в комнату вошел Сейтек. Директор тут же осекся и после секундной заминки возьми да и ляпни:

– Ребята хороший пример подали другим, и это похвально!

Мать одного из разгильдяев, болтушка Зылиха, переспросила от удивления:

– Что вы сказали? Похвально?!

– Да, похвально, – повторил директор и тут же, пытаясь исправить свою оплошность, продолжил как ни в чем не бывало: – Если бы они не закурили и не попали в больницу, остальные бы вряд ли поняли, что это вредно! Теперь они и в мыслях своих не допустят взять в рот сигарету, потому что дети ваши показали им наглядный пример, вот что я имел в виду.

А кто же, кроме матери, пойдет в школу, если вызывают, да и родителей на собраниях бывает раз-два и обчелся. Отцы знают только как детей ремнем лупить

<sup>3</sup> «Кок дукен» – «Синий магазин».

или же, выловив их, когда те играют, послать в магазин. Вот и все, чем ограничивается воспитание детей в наших краях. Бывает, правда, иногда, придя домой после получки под градусом, начинают проверять дневник своего чада, да и то далеко не каждый из отцов. Мать второго пацана прыснула было со смеху, как Асылбека от злости бросило в дрожь, еле сдерживаясь и не зная, что сказать, он, от растерянности или же смущаясь Сейтека, пробурчал:

– Пойду, схожу перекурю, – и быстро вышел из учительской. Оказывается он вовсе не курит, и об этом, похоже, он вспомнил, когда уже стоял во дворе. Что тут поделаешь, зайдя в свой кабинет, посидел немного и спустя немного времени вернулся. С порога сказал, мол, меня вызывают в отдел образования, хорошенько побеседуйте со своими детьми, иначе исключу из школы, на этом все, можете идти, и снова ушел к себе в кабинет. Весь этот разговор уже к полудню стал известен всему народу, в тот день даже муж Зылихи – шофер Салим, который искал любого подходящего повода, чтобы отлупить сына, впервые изменил своей заведенной привычке.

Сейтек-агай одинаково обходительный со всеми, будь это стар или млад, проявлял к Старику особое почтение. В праздничные дни он перво-наперво шел к нему домой поздравить, а когда наступал Наурыз, раньше всех спешил к нему, чтобы дружески обнять и выразить свои лучшие пожелания, а с выходом на пенсию, особенно с тех пор, как умерла жена Старика и тот остался один, иногда раза по два-три на дню заходил посидеть-посудачить. Прежде он не приходил к Старику лишь в те дни, когда тот пил, но с прошлого года перестал деликатничать.

Вот и сегодня прошло уже более двух часов, как он зашел, и все время, словно развлекая самого себя, что-то увлеченно рассказывает Старику, который сидит себе да помалкивает и отрешенным взглядом своих вечно слезящихся покрасневших глаз смотрит то в окно, то на стакан перед собой, то на него, при этом даже не шелохнется, лишь дымит под нос время от времени очередной закуриваемой сигаретой. Вот наконец-то поднимается Сейтек, отряхивает полы своего парчового, обшитого позументом чапана, надеваемого им постоянно со дня выхода на пенсию и, похоже, не ведающего ни износа, ни загрязнения, то ли сразу же закупил их с полдюжины и меняет их каждый день, сует ноги в калоши и прощается со Стариком, тот ему в ответ ни слова. Надо сказать, что Сейтек в последнее время усердно совершает намаз<sup>4</sup>, ходит в ичигах, надеваемых с кебисами<sup>5</sup>, чтобы не запачкались, в них тепло, и ноги, как раньше, не потеют.

Старик, опрокинув еще один стакан, долго пережевывал хлеб с луком. После следующего захода бутылка уже пуста, стакан заполнен лишь наполовину, да и сознание уже затуманено. Поднимая первый стакан, он про себя желает, чтобы Сергею земля пухом была, а дальше и не знает, за что и зачем пьет, полагает, наверно, раз бутылка открыта, то ее надо допивать до конца, или же ему кажется, что если оставит водку недопитой, то, значит, выразил свое уважение к покойному другу не в полной мере. Возможно, это вошло в привычку, словом, встает с места только тогда, когда опустошает бутылку до конца.

Последние десять лет он все чаще засыпает за столом, покойная старуха еще при жизни сама подкладывала ему под голову подушку и заботливо укрывала

<sup>4</sup> Намаз – пятикратная молитва мусульман.

<sup>5</sup> Кебисы – кожаные калоши.

одеялом. Теперь он не придает этому никакого значения, просто, когда просыпается, обнаруживает, что лежит под одеялом, но особо-то и не заморачивается, сам он укрылся или кто-то чужой это сделал.

Вообще-то, он не привык много думать и рассуждать, с детских лет рос тугдумом, да и когда вырос, ума особо не прибавилось. Порой удивляется, как это, уйдя на фронт, попав там в плен к немцам, отправившим его копать уголь на шахте, затем, сбежав от них, до конца войны партизанил, после чего, побывав уже в нашем плену и работая на лесоповале в Сибири, остался все-таки в живых. Сергей не раз ему говаривал, мол, хорошо тебе, голову свою лишними мыслями не морочишь, душу переживаниями не тревожишь, никогда не унываешь, наивен, как дитя, значит, долго жить будешь. Похоже, прозорлив оказался его друг, сейчас ему за восемьдесят, чего он только не пережил в этой жизни, другой на его месте давно бы уже сгнил в могиле, а он живет знай себе и в ус не дует, не ведая в отличие от иных стариков ни болезней, ни хворей. Вот только в дождливые дни кости ноют да иногда нестерпимо болит отрезанная по колено несуществующая голень, которую он потерял полвека назад в одном из уголков необъятной тайги. Что уж тут поделаешь, мочи нет терпеть такую боль, протянет бывало руки, чтобы потереть ноющее место, но что тереть, нету его, давно отрезали. Когда старуха жива была, единственное средство применяла – чаем его горячим отпаивала, иногда голова болит нестерпимо, ломота возникает там, где голени нет, хорошо другая голень на месте, ее или старуха, или он сам погладит-потрет, пока боль наконец-то не пройдет. Но никак не может понять, почему болит то чего уже давно не существует. И старуха никак в толк не возьмет, цокает языком да головой качает, что она может поделать, знай только отпаивает его без конца крепким чаем, заправленным верблюжьим молоком.

– Бедняга, измучился-то как, чем же мне тебе еще помочь! – говорит она в отчаянии, ему становится жалко ее, и он перестает стонать, мужик ведь как-никак, считает, что не должна она видеть его страдания, чтобы сердце от переживаний у нее не болело. Странно вообще-то устроен человек: некоторые только и думают о себе, после них хоть потоп, лишь бы все им, лишь бы им хорошо и сытно было...

Таким человеком оказался Сапар, сызмальства росли вместе с ним, во время голода пути их разошлись; он попал в текинский интернат, тот остался на Мангыстау, а когда призвали на войну, встретились снова, на одном фронте вместе воевали, отчаянным храбрецом слыл, да вот только чересчур заносчив был и надменен, полагал, своя рубашка ближе к телу. Десять человек их было, когда, оказавшись в окружении, они три дня голодными плутали по лесам, а Сапар время от времени уединялся от них подальше, чтобы сходить по-большому, все думали, что у него расстройство желудка, и пришлось Старику нести походный мешок и ручной пулемет товарища.

Командиром был Сергей, который приказал, ну, да ладно, приказ есть приказ и обсуждению не подлежит, он бы и так понес вещи Сапара. Хотя тот стал отлучаться чаще, но что-то совсем уж не походил на больного, ведь тот Сапар, которого он знал как облупленного, давно бы уже всех перебаламутил, теперь же и без того отчаявшихся товарищей своих не захотел тревожить, в общем, никого своими жалобами не донимал.

На третий день силы у всех были на исходе; когда он поднимался после привала, перед глазами плыли темные круги, кружилась голова, подкашивались ноги и

он чуть ли не падал, теряя равновесие. Жажда их не мучила, лес все-таки кругом, родники да ручьи на пути попадались, однако невыносимо урчал желудок, стояла ранняя весна, и ягод еще не было. Тогда все принялись жевать листья, Сергей же, заметив кого-нибудь за этим занятием, заставлял выбросить зелень и ругал, но стоило ему отвернуться, как солдаты опять принимались за свое.

Позже до Старика дошло, что они запросто могли отравиться. А вот Сапар в отличие от остальных выглядел посвежее, и, когда все, один за другим, падали от изнеможения и истощения, не в силах идти дальше, незаметно забирал свой вещмешок и уединялся где-нибудь в сторонке, а спустя некоторое время возвращался и ложился возле товарищей. Все отошали до такой степени, что от них остались кожа да кости, и сил не было даже глаза открыть, а не то чтобы подняться, и ближе к вечеру Сергею пришлось поднимать всех пинками. Когда очередь дошла до Сапара, он встряхнул его за плечо, а тот перевернулся на другой бок да как захрапит во сне. О тоба<sup>6</sup>! Сергей сам едва стоял, пошатываясь на ногах, а тут, вероятно, приняв храп за предсмертный хрип, в страхе отпрянул было назад, а потом склонился и стал всматриваться Сапару в лицо. Нет, спит самым что ни на есть сладким и безмятежным сном, грудь вздымается, словно кузнечные мехи, при вдохе раздается храп, а при выдохе сопение с присвистом. Сергей взял да и пнул его в грудь.

– Вставай, подлец! Покажу тебе, как спать! Встать, живо!

Сапар проворно вскочил с места, мгновенно потянулся рукой к штыковой винтовке, висевшей на изогнутой ветке, однако схватить ее не успел. Сергей подцепил его ногой под коленный сгиб и повалил наземь, пока тот пытался встать, ударил его тыльной стороной ладони прямо в лоб.

– Мерзавец! Предатель! Ну-ка, развяжи мешок! Быстро! Пристрелю, сукин сын! Высыпь все, что там внутри! Живо!

В это время все разом повскакивали с земли, кто-то растерянно озирался по сторонам, не понимая, что происходит, кто-то вскинул ружье наизготовку, а кто-то просто замер на месте, ожидая, что же произойдет дальше. Что ни говори, но столь неожиданное событие заставило еще недавно лежавших, скорчившихся от голода, обессиленных, выйти из состояния полного безразличия. Сапар на коленях подполз к завязанному на сложный узел вещмешку, трясущимися руками попытался развязать его, но это удалось ему сделать не с первого раза, пришлось повозиться некоторое время, прежде чем веревка на горловине наконец-то развязалась...

– Высыпай все, что там находится!

Сергей ткнул дулом пистолета, который держал в правой руке, Сапару в висок. Тот именно этого и ждал, стоя на четвереньках, вдруг резко повернулся, вышиб пистолет из рук и ударил Сергея в скулу. Командир рухнул, словно подрубленный тополь, наземь. До чего ж проворен, в следующий миг в одной руке он держал подобранный пистолет, вторую руку поднял вверх и наступил ногой командиру на грудь.

– И это наш командир?! – закричал он хриплым голосом, глядя на сослуживцев. – Вокруг нас полным-полно немцев, мы окружены, скитаемся, не зная, где спрятаться, а он пугает меня, что пристрелит. Теперь нам остается только перебить друг друга, да?!

Сергей как будто очухался, зашевелился было, но всякий раз, когда он пытался освободиться, Сапар все сильнее давил ногой ему на грудь. Старик, конечно же,

<sup>6</sup> О Боже праведный!

тогда был молодым парнем, осторожно ступая, приблизился к Сапару, который наверняка подумал, что тот хочет ему помочь, ведь они с ним соплеменники среди сплошь голубоглазых чужаков? По-другому и быть не может. Однако в мыслях у Старика было другое: крепко сжав тремя пальцами за запястье руку Сапара, в которой был пистолет, он вывернул ее, оружие упало на землю. Покойный отец, помнится, хватал за загривок самых строптивых жеребцов, пригибал их головы к земле, у тех начинали трястись голени, пока они, перекувыркнувшись не падали наземь. Вот и он пошел весь в него, вырос таким же костистым, жилистым, сильным, и, несмотря на изнеможение, все же сил хватило на то, чтобы вывернуть другу детства руку до хруста и заставить того коснуться лбом земли. Тем временем Сергей был уже на ногах и с помощью двух солдат ремнем связал Сапару руки. Когда стали рыться в мешке, предназначенном для хранения соли, все застыли от удивления – проныра еще тот оказался, – оттуда извлекли филейный кусок конины. В последнем бою он видел, как саврасый, с белой отметиной на лбу, конь со вспоротым брюхом бился головой о землю, тщетно пытаясь встать на ноги, а из глаз текли крупные слезы. Конь тот тащил за собой пушку, порванный хомут лежал рядом; тогда Старик хотел пристрелить животное, чтобы оно не мучилось, но Сергей увел его с собой. А там оставался Сапар, выходит, это мясо того коня...

Сергей рванулся было к негодю, чтобы пристрелить на месте, но солдаты обступили его со всех сторон и помешали ему сделать это: мол, мы в окружении, каждый человек на счету, не знаем, что нас ожидает впереди! Сергей послушался ребят, отрезал каждому по маленькому, с кончик большого пальца величиной, кусочку; мясо пропиталось солью и успело уже провялиться, лишь сунешь в рот, так прямо-таки тает... Вдруг он чуть не поперхнулся, хорошо, что не проглотил, остальные всполошились не на шутку и тоже стали отхаркиваться-откашливаться. Некоторые, подумав, что бедняга от ненасытной жадности сразу же проглотил мясо, не пережевывая и что оно застряло у него в горле, начали хлопать по спине. У него слезы на глазах от позывов к рвоте выступили, но желудок-то пустой, чем рыгать-то? Стрельнув злобным взглядом на всех, он рванулся к Сапару, который сидел, прислонившись спиной к дереву.

– Ты... паскуда!.. Вырезал мясо у живой скотины?!?

О господи, как еще земля таких живодеров носит?! Да, этот стервятник человечины питаться не побрезгует! А тот ему с издевкой:

– А что, я должен был ее зарезать и разделать на части? Ты ведь мышатинкой одно время питался, а это по сравнению с ней наверняка лучше! Ну, как на вкус?

Нашел, что с чем сравнивать, проклятый! Дальше все происходило, как в тумане, товарищи ничего не разобрали из их словесной перепалки на непонятном для них языке, он сорвал винтовку Сапара, все так же висевшую на ветке, и ткнул ею в обидчика. Когда опомнился, стальной штык с мягким хрустом уже вонзился в горло Сапара. Вспоминая об этом, Старик по сей день не может понять, почему тогда им вдруг овладела такая ярость.

Похоже, все это произошло столь стремительно, что остальные поначалу так и не поняли, что случилось, да не то что они, он сам вряд ли ясно осознавал, что натворил. Только тогда, когда кровь брызнула из вылезших из орбит глаз Сапара

<sup>7</sup> Верх изуверства и святотатства, по понятиям казахов, впрочем, наверное, как и всех народов.

и тоненькими струйками потекла из ушей, носа и уголков рта, до него дошло, что он сделал. Однако в душе не ощутил ни капельки сожаления, наоборот, посчитал, что совершил справедливое возмездие.

Случай тот в последнее время не раз снился Старику, однако в этом сне не он убивает Сапара, а, наоборот, Сапар, бросая на него полный злобы взгляд, вонзает ему в горло штык, и в этот самый миг вдруг судорога пробегает по его ампутированной ноге, сам он, растерянно отмахиваясь руками, просыпается в ужасе; а в другом сне он, всхлипывая, плачет, а Сапар безжалостно колет и режет ему лицо штыком своей винтовки, как будто выводя на нем каракули, и вновь начинает дергаться и ныть его несуществующая нога...

Боже всемогущий! Все-таки с детства росли вместе в одном ауле, в один год родились, да и родством связаны, если копнуть глубже, – в десятом колене предок был общий. Выходит, кровь его взывает о мщении, иначе зачем он раз за разом является к нему во сне?! Вот когда он отправится на тот свет, возможно, понесет кару за свой опрометчивый поступок... Прежде он об этом не думал, сомнения стали терзать его с тех пор, как этот кошмарный сон приснился ему впервые.

В тот же день они попали в руки к немцам. Те решили брать их живьем, словно каких-то беспомощных косуль, угодивших в ловушку, и, прячась в кустарниках, взяли их в кольцо, внезапно открыли огонь, строча со всех сторон поверх их голов, и, не дав опомниться, заставили их залечь. Когда он открыл глаза, то увидел подошвы чьих-то сапог, обитые по всем краям медными гвоздями, и тут же ощутил легкий пинок по лбу. Они заставили всех подняться и погнали перед собой. Среди наших не оказалось ни коммунистов, ни командиров, иначе бы пристрелили на месте, Сергей был сержантом, таким же солдатом, но старшим над остальными.

Так он узнал, что такое оказаться в плену. Два года в шахте одного из уголков Карпат руду добывал, нет, наверное, работы тяжелее, чем эта. Позже, когда валил лес в Сибири, тоже приходилось несладко, тогда он утешал себя тем, что это все же не шахта. С Сергеем они за все эти годы не разлучались никогда, вместе воевали, вместе и в плен попали, вместе бежали, и партизанили вместе, и в самом конце и в Сибирь их вместе сослали.

Вот тогда-то Сергей, внутри которого, казалось, имелся некий незримый стальной стержень, и сломался. «Я умру, – говорил он. – И на войне, и в фашистском плену меня хранила любовь к родине, теперь она умерла, выходит, умру и я. Если выживешь, помянешь меня при случае». Видно, чувствовал, что с ним произойдет несчастье, и, спустя два месяца после того, как они оказались в Сибири, бедного придавило деревом и он умер на его глазах.

В тот день Сергей вбивал клин в пропиленный в стволе старого кедра толщиной больше человеческого обхвата и не успел отскочить от падающего дерева. Все, кто был поблизости, дружно приподняли рухнувший ствол, быстро вытащили несчастного, но было поздно, грудная клетка его была проломлена, и он умер, так и не придя в сознание. Как в воду глядел, оказывается, парень, и так оно и случилось. По его словам, у него остались мать и двое братишек, дошла ли до них весть или не дошла, неизвестно.

Много молодых парней в самом расцвете сил погибло во время войны на его глазах, но смерть Сергея он переживал мучительнее всего, а чувство тоскливого до отчаяния одиночества долго не покидало его. Этот славный русский парень

был единственным другом вечно молчаливого по натуре, ни с кем не ладившего верзилы с тяжелым характером, один лишь вид которого отталкивал многих, внушая им страх. И вдруг неожиданно не стало его.

Десять лет было отроду Старику, когда его родителей и всех близких родственников унес голод, тогда, едва волоча ноги от истощения, он приплелся домой к Сапару, но отец друга детства пинками прогнал мальчика из дому. Тогда ему повстречался один диуана<sup>8</sup>, и они стали вдвоем ловить мышей, чем и спаслись от голодной смерти. Диуана этот то ли волшебством каким-то обладал, то ли язык мышей понимал, сядет, бывало, напротив норки и читает нараспев какие-то заклинания, и четверти часа не проходит, как из норы высовывается голова мышки; бедняжка даже не успевала скрыться обратно, как тут же попадала в заранее установленные диуаной перед самой норой силки. Так жили они бродячей жизнью, пока не попались на глаза каким-то высокопоставленным особам, ездившим по степи; диуану сразу же отправили в тюрьму, а его определили в детдом, так Старик и выжил, иначе последовал бы вслед за отцом с матерью или же окончательно превратился в кота.

Когда Сергей был жив, то всячески опекал его, и вот, когда не стало этого единственного, сочувствовавшего ему всей душой, сердобольного человека, он все время находился в угнетенном состоянии. Но вот однажды из Казахстана пригнали с десятков заключенных, он и потянулся к ним, особенно по душе пришелся ему Кумар, который вскоре стал ему хорошим товарищем. Он тоже, как и Старик, рос сиротой, государство его воспитало, дало образование и знания, рассказывал он, его родители были интеллигентными, образованными людьми, поддерживавшими советскую власть, а сам он книги потом писать начал. По иронии судьбы, эта самая власть обвинила его в том, что он превозносит старину, желает возврата царских времен, недоволен ходом строительства новой жизни, за что и бросила в тюрьму. По сравнению с ним Старику наказание определили совсем уж легкое, всего лишь десять лет, тогда как Кумара осудили на целых двадцать пять лет. Что бы там ни было, но человек, видать, непростой, раз уж такой срок дали, и причина здесь должна быть слишком серьезной, похоже, скрывает что-то, ну и пускай, вряд ли сейчас сыщешь человека, который бы тебе всю правду о себе рассказал! И Кумар, похоже, опасался его, но, с другой стороны, где он еще найдет такого внимательного слушателя, вот и стал рассказывать ему о написанных им книгах, о том, что собирался написать, пока на него дело не завели, а Старику слушать не в тягость. Это и стало единственным для них развлечением во время работы: руки заняты делом, один говорит, другой слушает, охранники не понимают, о чем один из них другому что-то непрестанно рассказывает, иногда, бывает, прикрикнут, хоть и не знают, о чем они беседуют.

Как-то они чересчур увлеклись рассказом и чуть не угодили под только что срубленное дерево. Дело было зимой, внезапно слух его как будто уловил вначале чьи-то возбужденные крики, он обернулся, чтобы посмотреть, в чем дело, и это спасло их, беда, оказывается, уже нависла над ними. Казалось, не дерево, а само ясное морозное небо, а вместе с ним светившее, хоть и ярко, до рези в глазах, но не гревшее, ледяное солнце нависло над ними. Когда он был на войне, ему казалось, что нет более страшных звуков, чем грохот пушек и взрывы бомб, но такого прежде не видывал – невероятно грозный гул, отдаваясь эхом по всей

<sup>8</sup> Диуана – дервиш, странствующий отшельник.



округе, больно закладывал уши. Молниеносно оттолкнув Кумара, растерянно уставившегося на него, он нырнул в сугроб у ближайшего дерева. Вдруг послышался, как ему показалось, резкий свист камчи, и разом замолк тот самый грозный гул, чуть не разорвавший барабанные перепонки. Старик боялся встать с места, звук тот прозвучал не случайно, или он умер, или покалечился. Цел-невредим ли бедняга Кумар? Кто-то уже подбежал, дергают, трясут, что-то говорят, затем, обступив со всех сторон, поднимают, среди них и Кумар; нет, не настолько он легок, чтобы его можно было просто так поднять, наконец кое-как отволокли в сторонку и прислонили к дереву, и только тогда он пришел в себя; похоже, не умер, жив и не покалечился, потому как сидит, упираясь ногами в снег. Пошевелил было руками-ногами, как будто все на месте. Наверное, еще никогда в жизни он не испытывал такой радости, рот его растянулся в улыбке до самых ушей, видать, вид у него был настолько смешной, что все, кто стоял вокруг него, тыча в него пальцами, хохотали до упаду. Да, странно устроены люди, радуются, будто они сейчас на сабантуе<sup>9</sup>, а не на каторге.

Вечером, когда возвращался в лагерь, почувствовал, что побаливает большой палец правой ноги. Подкрепившись в столовой горячей баландой, они с Кумаром сели на нары и, накрывшись одеялом, осмотрели ногу при неверном свете зажженной спички, да что там рассмотришь в потемках, заметили только, что палец распух. Наутро неожиданно опухла и вся его нога, да так, что не влезала в валенок, и в столовую он не пошел. Кумар принес его паек – два куса хлеба, один он съел тут же, другой спрятал в карман. Стал втолковывать о своем увечье дежурному по барaku, а тот лишь растерянно ответил, что сегодня в санчасть записаны двое и никого больше не впишешь. Что ж ему теперь делать? В это время раздался сигнал – звук круглой медной болванки, висевшей на столбе прямо посреди центральной площади, на открытой площадке перед бараками, построенными вдоль всего периметра высоких бетонных стен лагеря. Когда раздается три удара, это означает только две вещи: тебе или надо вставать и идти на работы, или же ложиться спать, а того, кто слоняется без дела после этого троекратного звона, немедленно сажают в карцер. Он считал, что самое холодное место на земле – это Сибирь, оказывается, есть еще более холодное – карцер. Подмечено верно: кто споткнется, тому и достаются все тумачи – в окне промелькнули тени, следом резко открылись двери и вбежали двое солдат. Ты что сидишь? На работу не хочешь идти? Или бунтовать решил? Что до него, то один валенок на ноге, другой – в руке, сам пытается что-то объяснить, указывая свободной рукой на распухшую, как бревно, ногу, да разве станут выслушивать его солдаты, и рта раскрыть не дали, тут же давай колошматить его кулаками. Он прикрыл обеими руками лицо и сжался всем телом, валенок тотчас вырвали из рук и отшвырнули в сторону; били со всего маху, безжалостно пинали по коленям, по голеням, пока вдруг один из них не наступил каблуком сапог на пораненную ногу, обмотанную в несколько слоев портянками. Тут ему показалось, что душа покидает его бречное тело, нет, не покинула, на миг он отключился, а когда очнулся, то увидел, как в ужасе удирают от него эти двое, сам же он, прихрамывая, бежит за ними вдогонку, вот они выбежали на плац, а навстречу им несутся несколько солдат. Пока бежал, портянки на ноге размотались, он споткнулся и упал лицом вниз, в

<sup>9</sup> Сабантуй – народный праздник у татар, башкир и других народов, проводимый после уборки урожая.

тот же миг последовал град пинков, а когда бедняга попытался встать, то всей тяжестью ступил на больную ногу, тело вдруг пронзила невыносимо страшная боль, и, казалось, душа его снова чуть было не покинула его. Ему показалось, что на этот раз он действительно умер, в уже меркнувшем сознании вспыхнула искорка смутной мысли о том, что это очень кстати, и тут же погасла.

*...От дум глубоких становятся батырами,  
Да хоть голым на врага иди,  
Нет смерти без ведома Неба! –*

так точно сказал некогда прадед его Махамбет<sup>10</sup>. Когда-то, в свою бытность, отец любил постоянно повторять эти слова, когда рассказывал, что после подавления восстания<sup>11</sup> деды их бежали в пески Сама, хотя родиной был Тайсойган. Отцу так и не суждено было вернуться на землю предков, ему же все равно, что Тайсойган, что пески Сама, ведь все одно – казахская земля. Придя в сознание, сразу же понял, что остался жив и лежит в карцере. Никогда прежде сживать здесь ему не приходилось, когда присмотрелся, то убедился – правду сказывали те, кто здесь побывал; дома и бараки в лагере бревенчатые, щели заделаны мхом и замазаны глиной, а эта хрень полностью вылита из бетона. Он лежал ничком, согнувшись пополам, а когда перевернулся навзничь и вытянулся всем телом, то голова уперлась в стену, а ноги – в двери. Над железной, шириной в метр, дверью располагалась крохотная, величиной с ладонь, дыра, оттуда пробивался слабый свет, выходит, еще день, ночью не то что в карцере, и в бараках нет света, его выключают. Пытался встать с места, но такая сильная боль пронзила ногу, что он чуть не закричал. Во время войны его ранило дважды: вначале пуля прошла через грудь и уперлась под лопатку, доктор вытащил ее безо всяких лекарств, разрезав ему спину, тогда он впервые выпил водку; потом осколком снаряда пробило бедро, и то ему не было так тяжело, как сейчас. От природы-то он был вынослив, как верблюд, все переносил, не пикнув, выходит, слабость стал... Кто его знает, два года воевал, еще два в немецком плену маялся, год партизанил, потом год отсидел уже в нашей тюрьме и вот теперь два года в лагере находится, как политзаключенный, сибирскими морозами донимаемый да комарами терзаемый, откуда уж тут здорово взяться! Опираясь на обе руки, сел на задницу, через некоторое время глаза стали привыкать к сумраку, вокруг пустота, стены, пол, потолок – все из бетона, ощущаешь себя слизняком в каменной коробке. Да, чем он сейчас лучше слизняка! В детстве увидит, бывало, всякую крохотную живность, как давай давить ее ногами, а теперь он сам в таком же положении, всякое ничтожество, наделенное мало-мальской властью, может наступить на него ногой и раздавить в лепешку. Жизнь человека, говорят, игрушка в руках Создателя, в эти дни все начальники от большого до самого маленького приравнивают себя к Богу, захотят расстрелять – расстреляют, захотят повесить – повесят. Лет пять ему было тогда, как-то он баловался, разоряя муравейник, вначале с журчаньем помочился прямо в его отверстие, в тот же миг у муравейника началось настоящее побоище: муравьи, еще мгновение назад неторопливо заносившие в свое жилище кто соломинку, кто

<sup>10</sup> Махамбет Утемисов – поэт и воин, сражавшийся за свободу своего народа во время восстания под предводительством Исатая Тайманова.

<sup>11</sup> Имеется в виду восстание под предводительством Исатая Тайманова в XIX веке.

мертвого жучка или зернышко, набросились на тех из своих собратьев, которые шли в набег за очередной добычей. А он тем временем стал топтать их пяткой. Сам довольный. Эх, милая пора детства! Со смехом просыпаешься, со смехом ложишься спать, самая сладкая пора жизни, когда все люди кажутся добрыми и заботливыми! В тот день ему впервые задали трепку. Пока он уничтожал муравьев, кто-то внезапно обхватил руками его за туловище и, приподняв, сильно шлепнул ладонью по попке, отец, бывало, иногда играясь с ним, тоже шлепал его, но нежно, а на этот раз было так больно, что из глаз брызнули слезы, хотел обернуться и посмотреть, кто это был, но не смог. Его снова опустили на землю, это оказался отец, взгляд был рассерженный, и тогда он заорал:

– Коке!<sup>12</sup>.. Почему бьешь? О-о-о!..

– Дурак, зачем трогаешь невинных тварей?! Грех это ведь!

Откуда ребенку знать, что такое грех. Такой боли он прежде не испытывал и с отчаянным ревом, словно верблюжонок, побежал домой к матери. Как безгранична материнская доброта! Подняв плачущего малыша на руки, она беспрерывно с чмоканьем целовала его в лицо, в глаза, в нос, из которого двумя струйками стекали сопли.

– Кто тебя обидел? Кто моего жеребеночка тронул, а? Ну-ка, скажи, покажи кто, ох, как я его отлуплю!

Ему приятно от маминой ласки, но и забыть не может, что отец поднял на него руку, давась от рыданий, он жалуется ей:

– Коке побил!.. Апа!<sup>13</sup>, ты тоже его побей!..

Мать снова без конца чмокает его в лицо.

– Пусть только придет, мы ему покажем. Поругаем. Но только бить не будем, да? Отца бить нельзя. Теперь он больше тебя не тронет. Жеребеночек ты мой маленький!

И вот его мать, и отца, которого он считал огромным батыром, с которым никто не справится, унес голод тридцать второго, лежат где-то их так и не преданные земле кости. Да и он достался бы на поживу стервятникам, валялись бы его кости, разбросанные то там, то сям, если бы не встретился ему тогда бродячий отшельник, выходит, судьба ему дала возможность пожить еще... С лязгом и грохотом открылась дверь, это надзиратель, войдя, сразу же пнул его по здоровой ноге, с этого и начался разговор.

– Ну-ка, вставай! Вынеси парашу!

На углу возле двери стояло большое ведро размером с небольшую кадущку – в него и справляли нужду несчастные заключенные, попавшие в карцер, оно было привязано за ручку к цепи, прибитой к крючку на стене, а на нем висел замок, словно кто-то мог его стащить. Надзиратель со скрипом открыл замок, а он, пошатываясь, поднялся с места, стоять не в силах, не то что ведро поднять, до того нестерпимо ныла от боли нога, что пришлось прислониться к стене, иначе опять рухнул бы на пол.

– Чего стоишь как вкопанный! Ну-ка, держи!

Закрыв глаза и собравшись с силами, Старик сделал один шаг, но такая адская боль пронзила ногу, словно ему одновременно и мозг, и сердце проткнули шилом, и тогда он попытался нащупать стену, чтобы прислониться к ней, но, завертевшись

<sup>12</sup> Обращение – отец, батюшка.

<sup>13</sup> В данном контексте обращение к матери.

вокруг себя, тут же упал, ударившись головой вначале об стену, затем об пол, а тут еще солдат, как будто этого было мало, стал пинать его; хотел было прижать больную ногу к груди, как носок сапога этого полуцарька попал ему прямо в стопу, и он вновь потерял сознание.

Оказывается, человек, находясь без сознания, тоже видит сны; это уже потом он узнал, что провалился без чувств двое суток или все же уснул, но, что бы там ни было, очнулся или же проснулся от страшного сна. Двухглавая птица самрук нависла прямо над ним, туловище человеческое, голова птичья, пальцы на руках, словно острые железные колья, одной рукой она стала сжимать его голову, а второй впиалась в пах. Череп его затрещал, словно стеклянная посуда, вот-вот готовый расколоться на мелкие кусочки, паховая область, казалось, была раздавлена всмятку, он даже не мог взмолиться о пощаде, силы напрочь покинули его, не пошевелить ни рукой, ни ногой. Вдруг откуда-то возник отец и закричал: «Отпусти моего сына!» Чудище тут же разжало когти, устремилось к отцу, и между ними завязалась яростная схватка. Он вновь остался жив, и голова не раскололась, и нога перестала болеть, тело в тот же миг расслабилось, полное безразличие овладело им... Он осмотрелся вокруг себя, но отца нигде не было, а чудище вновь грозно нависло над ним, от ужаса он закричал... и проснулся.

Все та же каменная коробка, слабый свет брезжит из щели над дверью, все тело мокрое от влаги, погладил лоб, чтобы проверить, что же это такое, оказывается пот, потрогал рукой ниже пояса, и там мокро, и тогда он понял, что описался, испугавшись во сне чудища. А что ему было делать? Ну, а что же там с ногой? Замер на некоторое время, но ничего не почувствовал, осторожно пошевелил ногой, не болит, апырмай<sup>14</sup>, неужто выздоровела? Опираясь на руки, поднял туловище и сел. Погладил бедро, не болит, потрогал колено – тоже, потрогал голень, скользнул рукой ниже, потрогал стопу – не болит. А что если он попытается сейчас встать? Осторожно поднялся с места, перенес тяжесть тела на здоровую ногу, второй ногой с пугливой осторожностью коснулся пола, однако ничего не почувствовал. Только тогда до него дошло, что нога не болит оттого, что просто не чувствует боли, онемела, выходит, как же это? Снова присел и, теперь уже не осторожничая, начал растирать опухшую ногу, пощипывая ее время от времени пальцами, – все равно ничего не чувствует. Подергал один за другим каждый палец на ноге, как будто не его это нога, дернул посильнее за большой палец, а тот возьми вдруг да и оторвись. Что за чертовщина! Живьем гнить начал, что ли?! Решил проверить, действительно это палец или же содранная с него кожа, и стал пристально разглядывать его в сумеречном свете, потрогал руками, да, так оно и есть, или его, или чей-то, но настоящий палец, большой палец правой ноги. Потер его, крови нет. Сердце похолодело. Получается, палец мертвый? Чей же это палец? Конечно же, его. Выходит, он умер? Потрогал вторую ногу, нет, живой, потому как чувствует ее. Что за наваждение... Разве бывает такое, чтобы у человека одна половина тела была мертвой, а вторая – живой? Как же так? Пока он находился в полном недоумении, открылась дверь. На этот раз это оказался другой караульный, но ведут они себя все одинаково, то ли нарочно их так обучают. Не успел войти, сразу же завелся. Враг, негодяй, дармоед, таких, как ты, паразитов на шее у советской власти, расстреливать надо, пройдоха,

<sup>14</sup> Междометие, выражающее удивление, радость, неудовольствие, отчаяние и т.п.; о! да-а! ой! Боже мой!

выкобениваешься тут, два дня провалялся и нарочно не встаешь, да здесь все мочой провоняло, никак обмочился! Ну-ка, встать! Давай, живо! Предатель! Негодяй! Старик ему сунул оторванный палец. На, держи. Это что за гадость? Ты что мне суешь, сучий потрох?! Палец. Откуда взялся этот палец, чей он?! Мой палец. Ах, сволочь, вредитель! Ты нарочно себя покалечил, чтобы на работу не ходить?! Я покажу тебе, гад! Этому тебя немцы научили? Вот тебе! Вот! Получика, фашистский прихвостень!

Обычно фашистами немцев называли, получается, он немецкий прихвостень, с чего это он вдруг? Или же дразнит меня, издевается? Иногда он толком понять не может, где же его больше всего унижали: в немецком плену или же в советском лагере. Караульный пинал его с таким остервенением, будто он отца его родного убил. То ли он стал привыкать к постоянному битью, то ли караульный малохольным оказался, но пинков уже не чувствовал. Наконец тот прекратил его пинать, похоже, устал, однако все еще скалится, бестия, даже закрывая двери, продолжает чертыхаться, а он лежит себе, безразличный ко всему, разве наполовину живому, наполовину мертвому человеку не все равно, что матерят его или не матерят, что пинают его или не пинают – теперь для него все кончено, сегодня он есть, а завтра его нет. Пока он лежал, снова с лязганьем и грохотом открылась дверь, опять вошел тот же караульный, на этот раз не один, следом вошли дежурный заместитель начальника лагеря, потом вечно молчаливый горбоносый врач, но слова, наверное, за свою жизнь не обронивший, а может, и обронил когда-то, однако никто от него ничего не услышал; с ними еще два бугая – заключенные, работавшие в хозяйственной команде. Они-то и положили его, брезгливо морща носы, на носилки и отнесли в лагерный лазарет, помыли его кое-как, понося на чем свет стоит, переодели в чистую одежду, а наутро разом оттапали ему ногу ниже колена. Кому нужен инвалид? После того как он, пролежав две недели, выписался, сказали, мол, писать-читать умеешь, все-таки когда-то в интернате учился, и назначили его учетчиком, записывать, сколько деревьев срубила каждая бригада, кто какую норму выполнил. Раза два, когда Кумару не хватило чуток до нормы, он ему приписал, что следует, боялся, что если кто-то узнает и заложит, то его опять бросят в карцер, но все обошлось, никто ничего не заметил. Шло время, пока он не попал под амнистию, мог и не попасть, но, похоже, сверху пришло указание освободить столько-то человек, ему сказали, мол, как-нибудь и без тебя обойдемся, и освободили. Два солдата погрузили их, словно скот, в кузов грузовика, привезли на станцию, выгрузили и мигом уехали. Куда же ему теперь податься? В листе назначения было написано: Казахстан, Гурьев, а кто его там ждет? Он рос, нежась в песках Сама, но отроком потерял родственников и очутился в интернате, куда ему идти, у кого приютиться, да еще вот нога... Оказывается, зря переживал, родина есть родина, пусть и не с распростертыми объятиями встретили, но обрадовались еще одному вернувшемуся живым мужику. Ему сказали, есть тут у нас пустующий коржынтам<sup>15</sup>, его хозяин не вернулся с войны, а его жена переехала к своим торкинам<sup>16</sup> в Туркменистан, отныне он твой, будь в нем хозяином, а затем стали упрашивать-уговаривать, мол, выделим тебе скотину, ноги твои опутаем<sup>17</sup>, вон сколько вдов,

<sup>15</sup> Коржын-там – дом с двумя комнатками, разделёнными посередине сенями.

<sup>16</sup> Торкин – отцовский род замужней женщины; отец, родня, родители и все родственники жены.

<sup>17</sup> Женим (идиома).

незамужних девушек да молодых, какую пожелаешь, тебе засватаем. В дом он въехал, однако давать согласие на предложение спешить не стал и поначалу отделался отговорками, мол, с детских лет рос вдали от аула, от сельской жизни отвык, надо вначале прийти в себя, осмотреться, а со скотиной и женьтибой еще успеется, когда буду готов, сам скажу. Ну, хорошо, решили всем миром, человек долгие годы жил на чужбине, пусть обвыкнется, придет в себя, видно, стесняется своей увечности, потом успокоится, вот тогда и женится, такие уж нынче времена, когда в цене не то что одноногие, но даже и те мужчины, у которых и обеих ног нет, куда ему деваться, вон сколько девушек, еще больше молодых вдов. А деваться, знать, было куда, потому что в один прекрасный день прямо у дверей дома остановился грузовик с деревянным кузовом, из него вышел какой-то рыжий толстяк и, переваливаясь с ноги на ногу, подошел к нему, а он как раз сидел в теньке на топчане возле двери. Поздоровался.

– Ассалаумагалекум<sup>18</sup>!

– Уагалекум<sup>19</sup>!

– Ты узнал меня?

Откуда он может узнать, обычно у человека под подбородком должна иметься шея, а ее нет, как будто голова срослась с животом, судя по приветствию, возрастом младше него; ему же лет десять было, когда он ушел из аула, и даже будь тот ему ровесником, трудно сейчас найти сходство между мальчиком того времени и теперешним детиной, так что, не узнал. И тот его не сразу признал, просто слухи сюда привели. Слышал когда-то Старик о непутевом младшем братце своей матери, который рвался служить в Красной Армии и сбежал из дому; так вот, нагаши<sup>20</sup> этот потом крупным начальником стал, то в Москве, то в Алма-Ате, то еще в каких-то дальних краях обретался, краешком уха слышал, как злые языки болтали, что совсем уж позабыл про родные места; так вот, этот рыжий сыном его оказался. Они тут же крепко обнялись, растрогались, расчувствовались, охваченные радостным ликованием, словно не первый раз в жизни друг друга видят, а как люди, хорошо знавшие друг друга и встретившиеся наконец-то после долгой разлуки, да и разговор между ними сразу же сладился. Нагаши посадили в тридцать седьмом, с тех пор о нем ни слуху ни духу; и то, что он жил и в Москве, и в Алма-Ате, и бывал за рубежом, оказалось правдой, однако последняя командировка за кордон вышла ему боком, и, похоже, его разоблачили, как японского шпиона...

Дядин сын родился в России, на год младше его, единственный сын своих родителей, у него две старшие сестры, обе вышли замуж за русских, одна – в Москве, другая живет еще где-то, живы-здоровы, один зять очень образованный человек, другой – участник войны, звания Героя не удостоился, но вся грудь в орденах. Ну и слава богу, кем бы они там ни были, лишь бы все у них ладилось. Словом, нежданно-негаданно обрел он двоюродного брата, и в душе у него воцарилось некое равновесие. Двоюродный брат на войну не пошел, оставило государство его в тылу, а когда он закончил нефтяную учебу, то распорядилось, дескать, такие редкие специалисты очень нужны стране, и без тебя, мол, есть кому кровь проливать, лучше поезжай на Эмбу нефть добывать, там твоя

<sup>18</sup> Мир дому твоему!

<sup>19</sup> И твоему дому тоже!

<sup>20</sup> Нагаши – родственник по мужской линии матери.

родина, там твой народ. Вот с тех пор здесь, живет на въезде в Кульсары, еще подростком слышал он частенько от отца своего о том, что на Мангышлаке у него есть старшая сестра, у которой, кажется, есть сын твоих лет, как-нибудь вас познакомлю, зятя зовут так-то, очень душевный, приятный на вид человек. Сокрушался, что потерял связь с ними во время голода, но надежда, говорят, умирает последней, если жив племянник, то обязательно найди его, и при этом без конца повторял имя и фамилию Старика; потом, когда он сам приехал сюда то постоянно расспрашивал людей о нем, и вот накануне явился к нему друг-геолог и попросил суюнши, так, мол, и так, нашелся твой жиен<sup>21</sup>. На следующее же утро он выехал на машине и думал приехать пораньше, но в дороге машина, язвы ее в душу, хоть снаружи деревянная, внутри-то железная, взяла и сломалась, пока чинили, задержались в пути.

После этого нагаши даже чаю не попил, посадил его в машину, поблагодарил соседей, извинился, что рассиживаться некогда, как-никак государственный человек, работа горит, надо торопиться. Старика даже не позволил взять с собой ничего, кроме бумаг, да и когда бы он успел имущество и добра нажить, чтобы с собой забрать, если не считать кое-какой одежки, которую нагаши взял и прокрутил трижды над его головой и выкинул, хотя и вырос среди русских, но в поверьях и приметах разбирается. Затем наказал ему, чтобы впредь не надевал на себя старье, а почему бы не подчиниться такому приказу, подумал он тогда, и очерствевшее сердце его стало оттаивать. После смерти покойного Сергея такой заботы и сочувствия он не ощущал ни от кого, все же хорошо, когда есть родня, вот и нагаши, которого он никогда в своей жизни доселе не видел и не знал, нашел его, из такой дали примчался за ним, чтобы забрать с собой. Уже в пути он возблагодарил Бога за это. По дороге остановились на привал, чтобы дать остыть перегретой от жары машине, паренек-шофер оказался шустрым малым, постелил прямо на песке алашу<sup>22</sup>, сверху накрыл скатерть – дастархан, на котором мигом разложил большие жирные куски шужука, холодный куырдак, курт и иримшик<sup>23</sup>. Вода в железном сосуде, покрытом снаружи войлоком, оказалась холодной. Нагаши не зря долгое время жил среди русских, он лишь подмигнул своему шоферу, как тот быстренько водрузил на середину скатерти приметную бутылку. Ну, жиен, человек ты бывалый, попробовал и русской, и немецкой еды, да и тумаков тоже, наверное, и горькой водицы не чураться. Только они опрокинули водку из саптайка<sup>24</sup>, как сердце у него защемило, он начал рыгать, пробовал запить водой – все одно, не помогает, как будто не водку, а яду выпил. Позже, когда в очередную годовщину смерти Сергея он с боязливой настороженностью выпил для начала полстакана водки, она провалилась спокойно, тогда зараз выпил целую бутылку, аж вспотел от блаженства; выпил как-то еще раз с нагаши, снова обратно пошла. Что это за наваждение или же все это исходит от нагаши? Пробовал выпить без него, его опять вырвало, после этого решил не искушать себя этим зельем, но когда выпил в День Победы, пошла на пользу, не хуже шубата. После всех этих злоключений подумал, хотя я и не читаю намаз и не соблюдаю оразу<sup>25</sup>, все же являюсь мусульманином, и водку пить мне заказано,

<sup>21</sup> Жиен – племянник, в данном случае сын сестры отца.

<sup>22</sup> Алаша – домотканый грубошерстный полосатый ковер без ворса.

<sup>23</sup> Иримшик – сыр домашнего приготовления.

<sup>24</sup> Саптаяк – деревянная чаша с ручкой.

<sup>25</sup> Ораза – пост у мусульман на протяжении месяца.

но все же, наверное, души моего покойного друга и других погибших на поле брани молодых парней довольны, когда я пью в эти два дня, выходит и Творец-Создатель может мне простить мое прегрешение. Кто знает, так оно, наверное, и было на самом деле, но с тех пор он пьет лишь два раза в год.

Вот так и переехал он в Кульсары, нагаши сразу же купил ему дом, одел с головы до ног, хотел женить на ком-нибудь, но Старик заартачился, сказал, что в жизни своей с женщинами наедине откровенничать не пробовал, созреть для этого надо, решу, мол, сам, когда приспичит обзавестись бабой, между тем ему ногу деревянную справили – народ все-таки не бездеятельный, отзывчивый, нашлись люди, видать, не перевелись еще умельцы, не прошло и недели, как выбросил костыли, начальником склада его на работу приняли. Так он и жил, со временем раны на сердце стали заживать, мир уже не казался таким угрюмым, как прежде, да и народ стал жить лучше. В тот год, когда умер отец народов, наконец женился и он, ходила там одна почтальонша, вдова, сошелся с ней, она ему родила сына и дочь.

Благодаренье Создателю за то, что одарил его потомством, дети выросли лучшими среди сверстников, оба закончили школу с отличием, однако к родителям особых чувств не питали. Дочь работала в Актобе врачом, развелась с мужем, потому что не могла зачать от него детей, потом вышла замуж за одного молдаванина, уехала с ним на его историческую родину, родила ему двух дочерей, раньше хоть письма писала, затем и вовсе перестала переписываться, даже на похороны матери не приехала. Но он ее не осуждает, страна молдаван нынче иностранное государство, нелегко, видать, из такой дали переться. Сын-журналист из Алматы приезжал, и на том спасибо, хоть и он оторванный кусок, до сего дня ни сноху, ни внуков с собой не привозил, или же и он развелся? Ладно, лишь бы жив-здоров был.

Старик не вправе таить обиду на своих детей, потому что он душой полностью и безоговорочно не признал их своими, где-то в самых смутных глубинах души прятал тайну, которую ни одной живой душе открывать не хотел, а поведал ее ровеснику своему Сейтеку уже после смерти своей старухи, не в силах удерживать в себе переживания, и как только все это время мог носить он под своим израненным-истерзанным сердцем такой тяжкий груз.

Оказывается, и Сейтек об этом догадывался, как-никак человек он проницательный, но никому своих подозрений так и не выдал, и как же ему удалось уловить сомнения, терзавшие чужую душу, – это более всего изумляло Старика. Каким же ясновидением надо обладать, чтобы, не вызывая на исповедь, разгадать твою тайну, какую же чуткость и сердечность надо иметь, чтобы до этого дня ни единым намеком не выдать то, о чем догадываешься давно, какой возвышенный человек, что избрал своей целью оберегать хрупкую душу человеческую! Как не благодарить Создателя за то, что сотворил такого благородного человека, как не любить свой народ, который, впитав в себя мудрый опыт, дал некоторым своим сынам, как Сейтек, такое воспитание, наделив их святостью!

Однажды, перед выходом на пенсию, ему понадобилась какая-то бумажка, из-за нее весь сундук вверх дном перерыл и вдруг нашел старую, пожелтевшую от времени фотографию. Присмотрелся, вроде как его сын, тот самый, что учился в Алма-Ате, те же самые брови взлет, горящие глаза, нос с горбинкой и красивые тонкие усики над чуть вздернутыми и сжатыми губами – все точь-в-точь.



Но почему она такая старая? Перевернул ее и на обороте прочел слова, посвященные его жене, «на вечную память» и с подписью «твой любимый», а в самом низу стояла дата 1940 год. Увидел и все понял. Понял и растрогался. По всему его телу дрожью пробежала волна сострадания и жалости, и он заплакал. Каким бы непробиваемым он ни был, но все же чувствовал силу любви, признавал, что ему не выпало счастья испытать столь сильное и великое чувство, довольствовался хотя бы и тем, что ладил с супругой и хлеб-соль делил с ней но никак не думал, что все так обернется.

О Создатель! Оказывается, не только сын, но и дочь на него похожа. Видывали кто-нибудь что-то подобное? Возможно, не то что видывать, никто даже и не слыхивал о таком. Не простого поля ягода оказалась его невзрачная на первый взгляд, ничем не примечательная старуха. Все это время, оказывается, она в самом глубоком, потаенном уголке своего сердца бережно хранила беззаветную любовь к супругу, который, едва успев жениться на ней, отправился на фронт и в первом же бою погиб от вражьей пули! Не только хранила, но, не растеряв силу этого прекрасного чувства, перенесла образ незабвенного своего на чужих, то есть на моих, от моего семени рожденных детей и обессмертила тем самым свою любовь. О господи! Чего стоит только одно то, что эта сгорбленная, съжившаяся от дряхлости, твоя старуха через всю жизнь пронесла столь бесценное чувство, светлую и чистую свою любовь, не запятнав при этом ее ничем!

Насколько гениально народ наш пометил: «Днем мы вдвоем, а ночью – вчетвером»<sup>26</sup>. А вот мы – втроем. И все трое счастливы. И покойный, частичка духа которого влилась вместе с моей кровью в чрево его любимой, хоть и смерть разлучила их; и моя жена, которая хотя и была навеки разлучена из-за превратностей проклятой войны со своим любимым, но сохранила свое чувство к нему и оказала дань уважения к своей первой любви, оставаясь передо мной чистой от греха, безупречно честной, и сыну, которого девять месяцев носила под своим сердцем и которому силой своего чувства подарила облик своего возлюбленного; и я, внесший свою лепту в то, чтобы такая трепетная и трогательная любовь принесла свои плоды, – все мы по-настоящему счастливые души!

И здесь он был прав. Сколько бы мук ни приходилось терпеть ему от судьбы, сколько бы мытарств он ни пережил, но Старик был и остался человеком широкой души. Однако никто об этом не знал, да и Старик о том не жалеет, довольствовался тем, что благодарил в душе Бога за все. Старик наш, никогда не ругавший не то что людей, даже скотину, ни разу в жизни не повысил голоса ни на свою старуху, ни на детей, правда, в облике его всегда сквозила угрюмая суровость, а после того как он увидел старую фотографию, от суровости его не осталось и следа, и крупный, рослый, худощавый старик с непроницаемо холодным лицом и кровью налитыми глазами превратился в доброго, немногословного, с лицом, озаренным внутренним светом, почтенного старца, и даже краснота его глаз воспринималась теперь как признак мягкости характера.

После того как его старуху предали земле, отвели поминальной трапезы и прочли молитву за упокой души, гости разошлись, а соседские снохи да невестки стали убирать стол и приводить дом в порядок, они с Сейтеком, чтобы не мешать

<sup>26</sup> Здесь имеется в виду притча: женился вдовец на вдове, ночью оба вспоминают своих покойных «половинок».

женщинам, вышли проветриться. Курдас<sup>27</sup> заметил, что Старик явно волнуется, они прошли в дальний угол двора, где под сенью дерева стоял топчан, там и присели. Разговор заладилась не сразу, между ними как будто ощущалась какая-то неловкость, и оба некоторое время сидели молча. Тишину нарушил Старик.

– Пусть Аллах ниспошлет тебе свою милость, курдас, до самой смерти старуха была довольна твоим к нам уважением и расположением, и я благодарен тебе за это, пусть до последнего часа беды обходят тебя стороной.

– Ну, будет тебе, недаром говорится, «пока душа умершего не останется довольной, живой не разбогатеет», службу добрую сослужили, значит, воздаст Бог нам за это свою милость.

Старик прикурил сигарету и долго смотрел на Сейтека слезящимися глазами, чувствовалось, что волнуется, затем вдруг попытался было не спеша перейти к сути разговора, как курдас перебил его.

– Можешь и не рассказывать, я это понял давно и, удивляясь беспредельному могуществу Всевышнего, стал молиться ему, но в то время я был учителем, состоял в партии и, чтобы никто не узнал, что я читаю намаз, уединялся в своей комнате, закрыв ее изнутри, это же потом все стало на свои места. Слава богу, сейчас ты волен делать, что тебе угодно, однако иногда думаю, что эту вот волю все же надо было получить постепенно, многие ведь растерялись поначалу, многим это вышло боком, некоторые вовсе обнищали и опустились, а сколько людей хотели бы вернуть прежние времена, увы, так и не оценив по достоинству всех преимуществ независимости. А тайна твоя мне стала известна еще тогда, когда твои дети только ходить стали, так что не огорчайся и не терзайся из-за этого понапрасну; твоя старуха, да будет земля ей пухом, святая была, не терзайся, что она всю жизнь тосковала по прежнему мужу, это – широта души ее, чистота чувств, честность по отношению к своей первой любви, которую не предала и не запятнала ничем. Да ты должен гордиться, что был мужем такой женщины, и, судя по тому, что до сих пор ни разу не пытался рассказать об этом, ты и сам понял это.

Слова курдаса согрели ему душу, верно, что еще говорить, разом развеял сомнения, терзавшие его сердце, чего же более. Итак, в душе его воцарилось удовлетворение, каждую пятницу по его просьбе курдас читает молитву за помин души, посвященную старухе, завтракает и ужинает он в доме друга, в обед забегают снохи Сейтека и готовят ему чай, вот так и живет Старик последнее время. Сын его хотел перевезти в Алма-Ату, не поехал, не хватало перед смертью еще и сноху обременять, лучше жить себе среди односельчан, а если помрет, то как-нибудь предадут его земле.

Сын его тут взвился, мол, вы только о себе думаете, вот как мать умерла, так бросил работу, жену и детей одних оставил в городе, в долги влез, чтобы из дали такой несусветной притащиться, вот завтра ты умрешь, опять к вам сюда ехать придется? Только ведь на новую работу устроился, начальник строгий, а что если не отпустит? Не бери в голову, и там, наверное, есть люди, которые коран читать умеют, довольно будет и того, что попросишь их прочесть молитву за упокой моей души.

Сын его рассердился пуще прежнего, тамошние люди действительно понятливые, не такие упрямые, как вы, что стоите только на своем, понимают, если им дело говорят, не все же старики такие упертые. Хорошо, поезжай к себе, перед

<sup>27</sup> Курдас – ровесник.

Богом и перед людьми тебе говорю – не обижусь, если горсть земли на могилу мою не бросишь, так что, милый, лишь бы сам был жив-здоров, и дети твои маленькие пусть будут живы-здоровы, мне ничего сверх этого и не надо. Так что, расстались они не так, как им хотелось бы.

Вот теперь он поминает друга своего Сергея. Встретит ли он его на том свете? То, что встретится с предками, ясно, а Сергей ведь русский, иной веры, но все же, кто его знает, там, наверное, на веру не смотрят? Говорят же, что Бог един. Ладно, выпью-ка я последний стакан, чтобы душа друга моего покоилась и далее с миром. Выпил – и вдруг всем телом ощутил такую легкость, что радость и восторг наполнили его душу, прямо перед ним возник Сергей, не тот Сергей, а намного моложе, да и выглядит как-то иначе, лицо светится радостью. Они обнялись и вышли из дому. Вот это да! Толпа людей в белых, сотканых из тонкого газа одеждах ожидала их, все знакомые, все радостные, дружно приветствуют его. Подошла мать и поцеловала в лоб, отец крепко обнял его, старуха... какая старуха, она была теперь изящной, совсем еще юной девушкой, подбежала и бросилась ему на шею, затем взяла его за руку, подвела к своему первому мужу, обнялся он и с ним. Все сели в белую карету, запряженную белоснежными скакунами, и лошади помчались, и вот они несутся в сторону колышущейся в мареве степи, залитой золотистым светом, но только не слышно дробы конских копыт, вместо нее льется некая убаюкивающая и ласкающая слух мелодия...

\* \* \*

Сын не смог приехать на похороны Старика, дочь, вероятно, не получила известия, всю траурную часть взял на себя от начала до конца его курдас Сейтек, четверо сыновей того самого нагаши стали к этому времени крутыми предпринимателями, они-то и устроили пышные поминки, да и сам нагаши, хотя вот уже лет пять, как стал выживать из ума, приехал, все со старухами заигрывал, словно не на поминках присутствовал, а на тое гулял. Да и что здесь такого, смерть человека, прожившего свыше восьмидесяти лет, можно считать праздником, и ничего в том предосудительного нет.

2003 год

*Перевод Романа Токбергенова*

